мяти о великой войне, русской истории и вере, родному краю, советскому опыту и гибельным реформам, родословному древу, любви и творчеству, она содержит художественно-публицистическое обрамление. И эти вступление, послесловие, приложения и дополнения делают «Избранное» Валерия Савостьянова воистину «Русским крестом», демонстрируя многолетние мытарства автора на пути к своему читателю.

В очередной раз перечитывая эту книгу, невольно задаешься вопросом, почему русскому человеку, особенно если он талантлив, так трудно живется в России? Именно в России! А не на Украине или в Прибалтике, как нас каждый день пытаются убедить государственные телеканалы РФ. Будто все мы не ребятня Человеческая в любимом Отечестве, а племя ордынских бастардов!

Мне уже доводилось писать в тульском журнале «Приокские зори», что, на мой взгляд, «Русский крест» Валерия Савостьянова – это, быть может, последняя большая книга традиционной русской поэзии. «Большая», не в смысле количества печатных листов и помещенных на них поэтических строк, а *большая* по смыслу, чувствам, русскому духу и русскому мировосприятию! Она из тех книг, которые должны быть увенчаны Государственной премией России!» – цитирую по опубликованному письму в редакцию (что поделаешь, приходится самому быть Эккерманом при себе!). И далее писал, что присуждение Госпремии России Савостьянову «будет не только актом справедливости в нашем далеком от идеалов литературном мире, но и достойным подарком поэту к приближающемуся его 70-летию». Но кто услышал мой призыв двухлетней давности? Что в имени моем для них – для тех, кто выдвигает на премии и почетные звания? А тем более для тех, кто подписывает указы об их присвоении! Они же книжек и газет не читают, в лучшем случае смотрят телевизор.

В современной России, чтобы прославиться русскому художнику (в широком смысле слова), надо обязательно быть крутым медийным лицом, а для этого нужно или с пеной у рта критиковать любое решение государственной власти, или закатывать громкие бытовые скандалы с непременным попаданием в кутузку, или (на крайний случай!) заявлять о своей нетрадиционной ориентации, потом опровергать это заявление, и далее по кругу. Грешным делом, подумал о том, что будь Савостьянов представителем любого субъектообразующего народа нашей Федерации, давно бы стал народным поэтом двух, а то и трех братских республик, трижды лауреатом республиканских госпремий в области литературы, а то и памятником при жизни себе неповторимому в центре республиканского центра.

Нет, он не обделен почетными званиями и грамотами! Он лауреат всероссийских литературных премий «Мастер», «Левша» имени Лескова, «Имперская культура» имени Эдуарда Володина, московской премии «За сохранение семейных ценностей в поэзии», тульских областных премий имени Льва Толстого, имени Ярослава Смелякова, «Золотое перо Тулы». Награжден памятными медалями «100 лет со дня рождения М.А. Шолохова», «100 лет со дня рождения Мусы Джалиля», «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову» и другими. Победитель и призер множества международных и всероссийских литературных фестивалей и конкурсов. Тот же «Русский крест» был удостоен дипломов международных конкурсов за лучшую русскоязычную книгу в Берлине и Лейпциге. Но всё это общественное признание, благодарное внимание коллег, читателей, издателей, полиграфистов, профессионалов литературного цеха. А что же государство? Не замечает! Как, впрочем, и других русских мастеров слова.

Последний раз мы с Валерием Николаевичем виделись в начале лета этого года на литературном фестивале «Славянская лира» в Минске. Сидели вместе на всех мероприятиях, обменивались мнениями, радовались удачам товарищей по перу, переживали за промахи, и с горечью отмечали, что занятие литературой все более становится уделом людей в возрасте. Вместе с ним стояли перед копией Туринской плащаницы в минском костёле Святого Симеона и Святой Елены, размышляя о Христе. И конечно, говорили о литературной жизни в провинции и в центре, положении писателей в регионах, судьбе наших книг. В перерывах фестиваля он раскрывал свой портфель и угощал меня хлебом и яблоками (много ли литераторам надо!).

Тогда же он рассказал, что вскоре в Туле у него должна выйти новая книга стихов и эссе «Вещий камень», по своему формату и оформлению похожая на «Русский крест». И вот она вышла! Первая презентация новой книги состоялась на недавно завершившемся в Крыму литературном фестивале «Славянские традиции». Как пишет сам мастер, в новой книге он «попытался припомнить и осмыслить весь свой жизненный путь, начиная с раннего детства, и при этом ещё связать его центральной и сквозной темой, весьма редкой в поэзии сегодня – темой труда». Наши поздравления поэту!

У Валерия Савостьянова есть стихотворение «Библиотека», в котором он рассказывает о книгах близких ему поэтов:

Лишь имя знакомое тронешь –
Как будто в гостях побывал:
Гордейчев – конечно, Воронеж,
А Решетов – это Урал.
Нет, я в поездах не летаю:
Хватило б на воду, на хлеб.
Но есть Башунов на Алтае,
А в Питере – Шефнер и Глеб…

Далее вспоминает Вологду, Подмосковье, другие русские местности:

Там Викулов и Коротаев,
Там Яшин, Романов, Рубцов…

Там Кедрин, там Дмитриев Коля,
Там Брагин с Чухонцевым есть…

И завершается стихотворение такой строфой:

Лишь имя знакомое тронешь,
Лишь томик положишь на стол, –
И Прасолов – здравствуй, Воронеж!
И Дронников – здравствуй, Орёл!

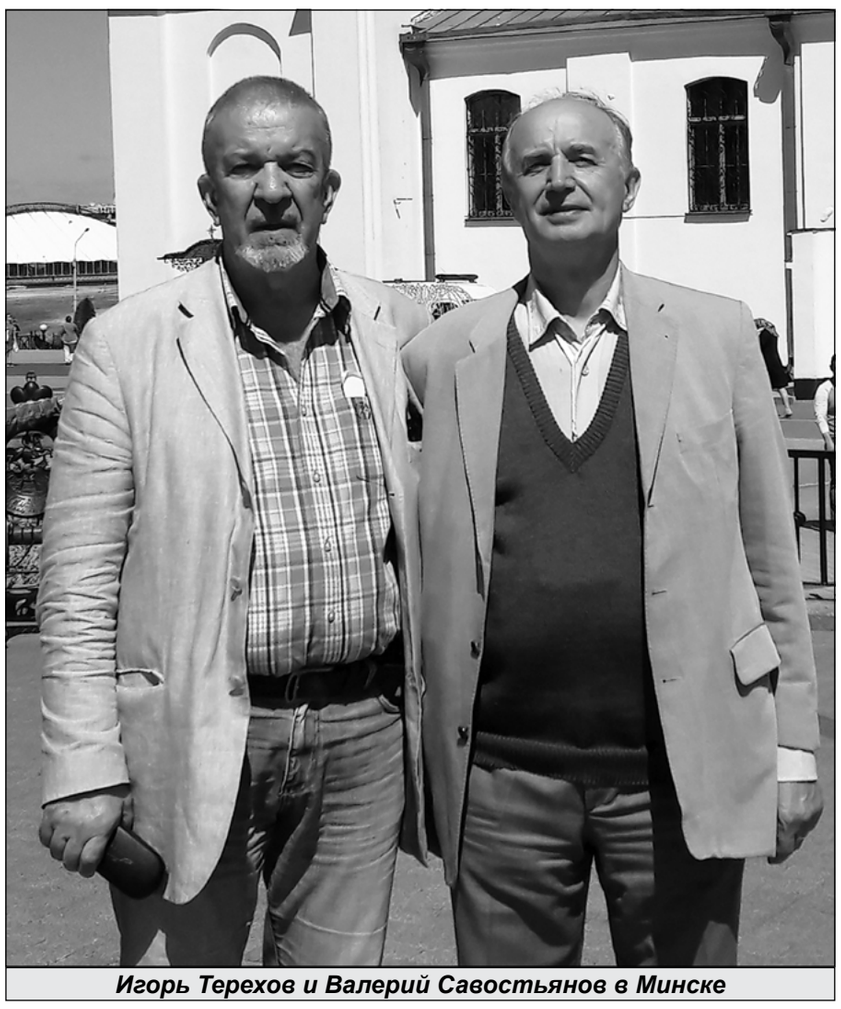
Уверен, что теперь город Тула в памяти читающих наших сограждан будет связан не только с кузницей русского оружия и знаменитыми печатными пряниками, но и с добрым именем поэта Валерия Савостьянова!

г. Нальчик

Игорь ТЕРЕХОВ

Судьба поэта на изломе века

К 70-летию Валерия Савостьянова



Игорь Терехов и Валерий Савостьянов в Минске

Фантасмагория Александра Леонидова

Юрий МАНАКОВ

О романе «Апологет»

После прочтения романа-фантасмагории «Апологет» Александра Леонидова (Филиппова), вышедшего на сайте «День литературы», я мысленно снял шляпу перед автором. Признаюсь, читал произведение не запойно, не, как говорится, «в один присест», за ночь, а не торопясь, смакуя. Сначала это происходило из-за того, что просто было лето, тайга и горы рядом, а в них я как рыба в воде. А в двух местах одновременно человек быть не способен. Ситуация на первый взгляд – на разрыв… Однако вскоре я понял, что это и хорошо: роман не тот, чтобы одолевать его с наскока! Наслаждаться необходимо, не спеша: прочитал, обдумал, поразмышлял, привёл впечатления в порядок. И ничего, что страда и случаются дни, когда ты не открываешь роман – эта фантасмагория уже в тебе, в твоей голове. И едешь ли ты куда, либо идёшь, или сидишь у ключа на лугу, а мыслями-то продолжаешь проживать те происшествия и события, с которыми ознакомился на страницах этой мистическо-феерической, с элементами сумрачного средневековья, вещи.

Поначалу я думал отписаться восторженным комментарием на сайте, так как было грустно оттого, что отзывов под этим исключительным романом кот наплакал, хотя число прочтений и обнадёживало. Но в короткий комментарий не втиснуть всех тех душевных ассоциаций, что родились при чтении.

Уже сам зачин потрясающий. Легко угадываемый Нахалков, этакий барственный усатый котяра, да и его не менее знаменитые родственники описаны хоть и в проброс, но ярко и узнаваемо. Я уж не говорю про главу о красных карателях, по-иезуитски уничтоживших госпиталь с ранеными только затем, чтобы заманить в силки и пулемётным огнём положить эскадрон белых, привлекая к этому сатанинскому действу и перепуганного насмерть пятилетнего мальчонку. Дальше – больше. Матвей Иванович Безымянных – этот революционный демон во плоти – разворачивается в полный свой инфернальный рост. Казалось бы, на эту нежить должна использоваться одна лишь чёрная краска, но вот он партизан во время Великой Отечественной войны. И хотя методы у него всё те же: вероломно заманивать врага и уничтожать, однако здесь уже упомянутой краске нет места. Её заменяет разливающееся чувство справедливой мести, особенно когда под его руководством подрываются едущие из рейха сравнять с землёй Ленинград так называемые орудия возмездия.

И такой разноплановой многозначности рассыпано по роману немало и в повадках, и в характерах других персонажей. Да в том же бедном армянском мальчишке, выжившем и ставшем медицинским доктором и по совместительству философом, Левоне Артушевиче Глыбяне! Метафоричен и образ главного героя Алика, Совенко Виталия Терентьевича, несчастного плода инцеста, выродка, каким он сам считал себя, и не без основания: «Я родился кривым, словно чрево моей матери бетономешалка…»; «Мысль проворачивается в голове режущим осколком битого стекла…». При деформированной голове и ущербных комплексах Алик обладает блестящим, хоть и циничным умом, и на удивление ловко встраивается в тогдашнюю советскую действительность, ведёт себя аскетично (к примеру, живёт на зарплату, не позволяет себе излишеств в одежде), между тем ворочая миллионами и даже перекраивая в свою угоду целые отрасли народного хозяйства.

Повторюсь, роман мистический, мощный своей неожиданностью, в нём подробно разобрана история власти вообще, и трагедия власти в России за последние сто лет в частности. Читая, ты видишь её неприглядную изнанку, ту дьявольскую кухню, где готовилось варево, которое нам приходится расхлёбывать вот уже более века. «Власть всегда инфернальна, иногда напомажена…» пишет автор, и трудно с этим не согласиться. Правдивые характеристики ничтожности большинства партийных вождей, окружавшей их цветастой номенклатурной челяди, вскрытые тайные взаимодействия с забугорными заклятыми партнёрами, интриги, подковёрная аппаратная борьба не на жизнь, а на смерть, всё это приводит к заключению, что не кто иной, как именно эта верхушка обрекла нашу великую Родину – Советский Союз – на заклание. И нет им прощения за это во веки веков!

Прочитал живописно-страшноватое описание того, как на фуршете в Австрии, в пресловутом Римском клубе, в зал вкатывается немалая тележка, на которой лежит мёртвая обнажённая девушка, прикрытая в известных местах виноградными листьями. Обморок Татьяны, усмешки «владетелей мирового порядка», непроницаемость чёрного мага, главного героя Алика. К вящему удовольствию убиенная девица оказалась всего лишь искусно вылепленным тортом…

И невольно вспомнился мне трагический декабрь 1991 года, развал СССР. Как-то вечером включаю телевизор, а там бесенята из поганенького и нагловатого «Взгляда». Помню Эрнста, Политковского, Листьева и других, этаких развесёлых мачо, как они у огромного стола чрезмерно оживлённо суетились. А когда разошлись чуть по сторонам, то увидел я гигантский, во весь стол, торт в образе Советского Союза, как на географической карте. Только вот был он выпуклым, аппетитным, причём каждая республика окрашена в свой яркий свет. И что вы думаете, сделали эти жизнерадостные жеребцы? Они дружно воткнули свои ножи и вилки в это беззащитное кулинарное произведение и раздербанили каждый себе по приличному куску. Под всеобщий пошловатый хохоток. Эти переполненные гормонами весельчаки, наверное, не ведали еще, что им уготована роль мавров, за исключением, может быть, одного того, который после убийства Листьева взобрался на далеко не матодорский пьедестал и вот уже почти три десятилетия отравляет мозги «дорогих россиян» до оскомины приевшимися КВНами и прочими крикливыми шоу.

Сказать, что язык повествования у Александра Леонидова особенный – это не сказать ничего. Каждая буква и запятая у него, как говаривала моя мама: «у места», то есть уже не заменить, не переставить. Леонидовский словарный запас – это россыпи нашего великого и могучего. И это я без всякой иронии. Потому что каждое слово у автора выверено, ему знаком и высокий стиль, и обыкновенная, но чрезвычайно глубокая по содержанию и смыслу простая русская речь. Не теперешняя, изрядно потрёпанная телевизионными недоучками с их англицизмами, а та, прежняя, воистину золотая, от которой приходили в восторг Иван Тургенев и Владимир Даль. «Любимый, мшелый и лапистый ельник, глухой, завалеженный, куда солнце, как в храм – только через звонницы вершин заглядывает невесомыми столпами…». Почувствуйте вкус и зримость этой фразы и ощутите шорох палой иглы под ногами! А как великолепно вписаны в ткань повествования наши поговорки и присказки: «кот из дому – мыши в пляс», «лучше быть петухом в маленьком курятнике, чем курицей в большом». Помните набившее всем оскомину: патриотизм – последнее прибежище негодяев… Александр Леонидов пошёл дальше и с сарказмом устами одного из деятелей Римского клуба изящно обыграл эту фразу: ум – последнее прибежище неудачников!..

В романе, на мой взгляд, нет ни одной вымученной или притянутой за уши фразы, и если он немалый и ёмкий построчно, то что говорить о его многоплановости и парадоксальных смыслах – их просто художественная бездна! Однако при знакомстве с ней, в отличие от той, хрестоматийной, она если и заглянет в тебя, то лишь для того, чтобы обогатить и насытить твои духовные потребности.

«Апологет» назван автором романом-фантасмагорией. Я бы добавил сюда с полным основанием – роман-предупреждение. Описывая события сорокалетней и более давности, автор мастерски вылепливает омерзительные фигуры Яковлевича, Перламутрова, академика Арбата. В образе Яковлевича легко проглядывается зловещая, деформированная не менее чем у Алика, внешность главного «прораба перестройки» Александра Яковлева, того самого, для которого слово «русский» было едва ли не ругательным, хотя, к сожалению, сам этот деятель кровно принадлежал к нашему народу. Некромант, да и только! А каков «академик» Арбат со своими русофобскими чаяниями о том, что пройдёт всего с десяток лет: «и слова никто не вякнет. Мы сверху, быдло снизу, и так – навсегда…».

Помнится, в советское время о масонах у нас в стране либо вообще не упоминали, либо власть предержащие лишь отмахивались: сказки, мол, всё это. Дожили – сказки оказались былью, да такой, что волос встанет дыбом! В романе есть такая фраза: «маги, некроманты составляют таинственную «мировую закулису»». И я почему-то верю, что это так. Как верю и тому, что «подменив прошлое, можно изменить события в будущем…». Кстати, познания автора не только истории Земли и человечества, но и нынешней эпохи глубоки и универсальны, это видно не по одному роману, но и по другим произведениям Александра Леонидова (Филиппова), однако его творчеству отнюдь не присуща академическая тяжеловесность и чрезмерная заумь. Слог изящный, словесная вязь образна и зрима, всегда лыком в строку лёгкая ирония, добрый юмор, но к месту и испепеляющий сарказм; не избегает автор и уничижительной издёвки, если того заслуживает какое-либо не лезущее ни в какие ворота явление или зарвавшийся персонаж.

Завершая свои записки скажу, что роман-фантасмагория «Апологет» – это без преувеличения событие в литературной жизни России, и если человек, как параличом еще не разбит клиповым восприятием окружающего мира, он обязательно отыщет это замечательное произведение и погрузится в упоительное чтение. Оно безусловно того стоит.

Борис АГЕЕВ

И люди мелководья

Константина Воробьёва «Друг мой Момич»

цию по отречению, а кто нет, но характер Момича читателю очевиден: один из всего смятенного собрания он возвысил голос, чтобы оборвать *глум* над верой и человеком.

…Да, конечно, все люди равны перед Богом, и должны быть равны перед Законом. Ликвидация сословий в Советском Союзе исходила из уравнительного принципа, истирающего, по замыслу тогдашних вождей, не только социальные и правовые различия, но и естественные, свойственные природе человека, ведь осталось неравенство и природное и нравственное. Люди нравственно неразвитые, с преступными склонностями образуют в любом обществе слой, отстоящий от остальных. Из этого неравенства вызревают не только недоумения, но и неразрешимые в реальности противоречия. И в подходящих для этого условиях они становятся причиной конфликта, уходящего в публичную и даже массовую сферы. Те из «многих званых», кто труждался на евангельских виноградниках, получили свой динарий, но не стали избранными – ибо «глаз твой завистлив». Когда схлынул угар социального переворота и угасла революционная романтика, человек оказался один-на-один с *собственной* природой. Это очень важный вывод, сделанный на основе анализа повести Константина Воробьёва.

Движущая пружина поведения персонажей с мелководья – зависть. Момичу завидуют и дядька Иван, и Сибилёк, и недобитый конокрад Зюзя, и его мать, побирушка Дунечка Бычкова. Зависть не преобразует отношения, не усовершает жизнь – а извращает её. Люди с тёплого низменного мелководья, в котором только пиявки и лягушки и водятся, движимые уравнительной завистью, становятся по отношению к Егорихе и Момичу неодолимой силой, когда получают от власти знаки вершить закон – печать и наган. Они *несовместимы*. Когда последние становятся первыми не в евангельском значении, а в социальном, к тому же получают и государственную санкцию, ущерб терпят те, кто соблюдает закон человеческий и заповеди. И, хотя голубы, зюзи и сибильки царили в деревенской истории недолго, а прошли потом в исполнительные механизмы государства люди деятельные, с созидательным императивом поведения, ставшие подлинной опорой нового общества, сам импульс преобладания во власти «последних», жертв случайностей порождения, непрофессионалов, людей с низменными интересами и стайными инстинктами, ещё долго сохранялся в жизни. «На наших дрожжах то тесто взошло!». Взамен отменённых сословий народился пласт – нет, не сословий, не каст – а чиновной корпорации, сплетённой общими интересами с политическими работниками и идеологической обслугой, куда входили и чуждые по духу Воробьёву литераторы. Эволюцию этой сервильной корпорации можно уследить и в основе другого произведения Воробьёва, романа «Вот пришёл великан». Этот факт объясняет в нашей истории много странного, отсюда же тянется и наша российская беда.

«Последним», ставшим первыми, противопоставлены люди из деревенского мира, объединённые по признаку *духовного родства*. Чужие люди становятся ближе родных, сплетаются в образ «други своя». И да – за ближних, за «други своя», человек отдаёт жизнь, ради них он подвигается на лишения и страдания. Сашке Письменову «други» и сосед Момич (не случайно же повесть называется «Друг мой Момич»), и убитая милиционером Егориха, заменившая Сашке мать… Отношения Момича с Егорихой основаны не на физическом влечении – хотя и таковое могло их связывать, – а на духовном сродстве. С Егорихой Момич нежен и миролюбив, женщина отвечает с любовной пристальностью, со строгим взысканием чувства… Особенно это заметно из сцены, в которой они поют общую песню. Они составляют непостижимое читателю *единство* внешнего и внутреннего. Момич борется с собственной низменной природой, которую воплощает в себе его лютый жеребец: Момич то и дело укрощает животину, спасает её от скотских самопогибельных страстей – и побеждает, как существо с высокой нравственной дисциплиной. Он способен не только на жалость, но и, что очень важно в опознании характеров повести, – на великодушие.

Великая душа не знает обид, но иногда впадает в недоумение при виде низостей человеческих.

Это видно из эпизода самосуда над Зюзей и Сибильком. Момич повязал их в ночном и привёл на деревенский суд, который обычно заканчивался смертью конокрадов при том, что схвативший их не должен, по жестокому обычаю круговой поруки, быть причастным к убийству. И тут же, в последнюю минуту, по отчаянному зову Сашки, останавливает казнь и прощает преступников. При том, что избитый односельчанами Сибилёк на границе собственной жизни и смерти в истребительной ненависти готов добить кирпичом своего напарника Зюзю.

«– Ну, ты! Осмёток! – грозно крикнул Момич, и Сибилёк понял, что это ему. Не оглянувшись, он прирос к месту и опасливо втянул голову в плечи. Никто ничего не говорил больше, все чего-то ждали, и Сибилёк ждал тоже. – Пс-сина! – раздельно сказал Момич».

Судить открыто конокрадов нельзя, а милость Момича в их глазах – слабость, за которую нужно *мстить*. Воробьёв в этой сцене показал страшную бездну меж двумя типами людей, людьми великой души и «осмётками» – людьми духовной нищеты, людьми мелководья. Это эмоционально бедные существа, без особых мыслей и глубоких переживаний, но необузданно страстные, чьё поведение продиктовано едва ли не биологическими инстинктами. Бездна эта была всегда и в любом обществе, но лишь после социальных переворотов «осмётки» получают и неожиданный статус и новое положение. Говорить об этом ранее не было принято, да и власть в своё время возгласила план выработки нового типа человека, воспитание преобразователя настоящего в светлое будущее… Из кого «преобразователи»-то?

Из сибильков и зюзь!..

Сельсоветчики Митяра Певнев и Андриян Крюков сбросили, наконец, с церкви крест и водрузили вместо него «большой и весёлый флаг». Уж этого-то, после того как разграбили алтарь, деревенские бабы не стерпели и хотели заставить сельсоветчиков поставить крест обратно. Но никто не знал, как это сделать: крест был железный, двухсаженный, тяжёлый. Милиционер Голуб, будто всадник камышинского *апокалипсиса*, понёсся на коне к галдящей толпе с наганом и верещащим свистком, толпа брызнула с площади, а тётка Егориха никуда не побежала. Она хотела лишь задать вопрос представителю власти и вскинула руки, чтобы остановить всадника. Голуб с перепугу нажал курок и убил Егориху на месте. Убил Голуб, конечно, не Егориху, а душу деревни Камышинки. И после её гибели она как-то опустела и всё в ней, и без того подавленной, пошло наперекосяк.

Впервые на страницах повести Момич с Егоровной на руках потрясённо рыдает. «Через ровные промежутки он вскидывал-нянчил мёртвую тётку и охрипло взрыдывал – гых-гых-гых, глядя сам поверх ноши, в недалёкое небо над Брянщиной». Сашка ещё не понимает значения утраты: «Я боялся и не хотел взглянуть в лицо тётке, и только теперь на проулке увидел её полуоткрытые и поживому чистые глаза. Они были сухие, и лоб под сбившимся платком блестел разглаженно и крепко, и подбородок круглился покойно и мягко, – наверно, не успела ни испугаться, ни заплакать»… И в последующем он представляет Егориху живой, они по-прежнему с нею беседуют и смеются, притворяясь, будто она умерла понарошку.

Похоронили её головой к дереву, откуда утром было видно солнце…

Правды в городе Момич не нашёл, возвращался домой смирный и хмельной. И повторял одно, непонятное: «Ох, Александр, не дай Бог сук-кину сыну молоньёй владеть». Кого он имел в виду под «сукиным сыном»? Может – *и себя*.

Потом его забрали Голуб и Зюзя, а появился он неожиданно на своём подворье с винтовкой, из чего читатель может сделать вывод, что Момич скрывался в банде или партизанил. А уже начался голод, дядька Иван стал умирать, едва выжил и Сашка. По следам Сашки Голуб и Зюзя хотели выследить Момича, но Момич убивает Голуба. Он подозревает, что Сашка непроизвольно действовал так, чтобы вывести Голуба под выстрел Момича – дабы отомстить за смерть тётки Егорихи… Возможно, на совести Момича это не первая смерть, но к убийству его толкает накалённая обстановка неодолимых, не разрешимых через смирение внешних конфликтов.

О чём же повесть? Нет, не о том, что люди великой души и люди душевного мелководья не могут жить рядом, не мешая друг другу. Повесть о том, что люди мелководья, встав из рядов «последних», из-за задворков общества, в разряд первых, *увеличили* масштаб трагедии, произошедшей с нами в минувшем столетии. Возгонка трагического градуса событий происходит, когда в распрю общественных сил втекают люди мелководья, придавая им необратимо-гибельный характер. Похожим событиям в Донбассе недавно сопутствовала обычная для новых киевских властей политика: из тюрем освобождается и вооружается большая часть заключённых и, случается, жестокостью и ненавистью они берут верх на затяжных и вялых участках боёв, поскольку эти люди не подчиняются законам, лишены сочувствия и не ведают пощады…

Много мудрых объяснений и оправданий произошедшей в 1917 году революции мы слышали, да ещё и услышим. Но можно ли взрывом котла устранить недостатки паровой машины, о чём применительно к этому событию писал философ Семён Франк? И никакие оправдания не снимали и не снимут в будущем невидимую массам остроту распри, ведущей начало ещё с библейских времён под «недалёким небом» – распри между семенем Авеля и семенем Каина. Между Момичем и Зюзей…

Вот почему у повести такая трудная судьба, вот почему цензура советских потомков тех «последних», кто занял ключевые места в новом обществе, резала и сокращала текст: чтобы избежать *невозможной* для них правды о том, какие тёмные силы вызвала из недр жизни бездумная политика новой власти.

…Сотни тысяч, если не миллионы человек, изменили имена и фамилии, сорвались с отчих корней, чтобы избежать преследований новой власти по причине «неудобного» ли происхождения, по фактам сопротивления свежим установлениям… Исчез в заключении ли, в ссылке и крестьянин Момич, а в белорусской пуще в глухой заимке появился некий лесник Бобров. Он и встречается с Сашкой на горестном пути отступления в первые дни войны. Невзирая на отношения со властью, подлинно русский человек Момич не может не противустать чужеземному нашествию и включается в партизанское движение. Немцы казнят его через два года после встречи с Сашкой.

Возможно, Константин Воробьёв допустил уступку читателю в сюжете о непреклонной распре, когда прекратил дни своего героя не от пули Зюзи – тот должен был согласно логике повествования появиться на страницах повести, чтобы поставить финальную точку от имени Каинова семени – но предложенный автором финал прекращает, наконец, видимую миру фазу их противостояния, которое «на наших дрожжах взошло».

И не обманываемся более: фаза *невидимой* миру брани продолжается до скончания времён…

Воробьёв превращает читателя в соучастника событий повести, он обладает редкой для художника способностью погрузить читателя в прямое переживание изображённого его пером внешнего мира и – внутреннего мира прописанных скупо, но со чрезвычайной точностью действующих на страницах его повести персонажей. Назвать ли эту его особенность *погружением* в реальность – поскольку описанное им производит впечатление полной достоверности – не знаю. Это признак высокой литературы – не приведение к правдоподобию, а постижение сгущенной правды. В этом есть и загадка творческого переосмысления действительности, когда описанный посредством слова мир становится реальней существующего.

И нужно быть художником виртуозной стати, чтобы суметь обо всём важном сказать так ёмко и выразительно, как это удалось Константину Воробьёву.

Впрочем, *высокая* литература, дотрагиваясь до такой тонкой области утрат, как умаление души русского человека, оставляет читателю не только живого наследника сродственных ему душ Момича и Егорихи, возмужавшего подростка Сашку Письменова, но и образ художника и пророка – самого автора глубокой и трепетно-искренней духовной эпопеи, повести «Друг мой Момич»…

Курск